



СПОКОЙНОЙ НОЧИ

Сергей Патрушев

Сергей Патрушев
Спокойной ночи

«Автор»

2026

Патрушев С.

Спокойной ночи / С. Патрушев — «Автор», 2026

Эта книга — не руководство по гигиене сна и не сборник советов. Это тихий спутник на границе дня и ночи, написанный полупрошепотом, для тех, кто остаётся наедине с собой, когда гаснет свет. Девять глав проводят читателя сквозь синий час сумерек и магию вечерних ритуалов, через мысленный перрон прощания с обидами и муки бессонницы, вглубь сновидений и наружу — к ночной симфонии за окном. Это путешествие учит растворению в тишине, милосердию к себе и принятию собственной уязвимости.

Кульминация — прощение, прошептанное в подушку, и рассвет, который неизменно наступает. Книга завершается не точкой, а многоточием нового дня, обещая: какой бы тёмной ни была ночь, утро приходит всегда.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Сумерки: Пограничная зона	5
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Сергей Патрушев

Спокойной ночи

Глава 1. Сумерки: Пограничная зона

Есть особый, почти сакральный сбой в механизме суточного ритма, крошечный временной разрыв, который редко удостоивается собственного имени в нашем торопливом лексиконе. Мы, люди электрической эры, привыкли к бинарности: день и ночь, свет и тьма, работа и отдых, бодрствование и сон. Наш язык груб и категоричен, он разрубает мир на удобные дихотомии, оставляя за бортом всё, что не укладывается в прокрустово ложе простых определений. Мы знаем, что такое утро — это когда звенит будильник и кофе обжигает горло. Мы знаем, что такое день — это бесконечная череда задач, звонков, уведомлений, это гул офиса или шум стройки, это пот, суета и яркий, подчас жестокий свет. Мы знаем, что такое ночь — это когда мы проваливаемся в забытие или, наоборот, мучаемся бессонницей, глядя в потолок. Но момент, о котором я хочу говорить, не принадлежит ни свету, ни тьме, ни бодрствованию, ни сну. Это щель между мирами, тончайшая мембрана, separating два состояния бытия. Время, когда физика освещения дает тектонический сбой, а наше восприятие реальности начинает неумолимо плыть, теряя привычные якоря. Солнце уже упало за линию горизонта. Его диск, еще несколько минут назад сплюснутый и красный от атмосферной рефракции, окончательно исчез, словно нырнул за невидимый край Земли. Его последний луч, преломившись в холодных слоях атмосферы, на долю секунды окрасил небо в тот самый мифический зеленый цвет, о котором слагают легенды романтики, и погас. Но фонари еще молчат. Еще не сработали сенсоры, не щелкнули электромагнитные реле в распределительных щитках, и город, этот гигантский организм с проводами-нервами, застывает в странной, противоестественной паузе. Это сумерки. Но не те розовеющие, полные надежд и сентиментальности вечерние тона, которые так любят закатные инстаграм-блогеры, и не тот нежный предрассветный перламутр, обещающий новый день. Нет. Это именно этот сгущающийся, холодный пепел, эта синяя бездна, которая заливаает мир, как проявитель фотографию. Это пограничная зона, где мир теряет резкость, становится текучим, и в этом размытии, в этой оптической неопределенности вдруг становится видно то, что обычно скрыто пеленой яркого света.

Днем мы живем в мире, нарисованном четкими, уверенными линиями. Солнце — великий геометр, безжалостный чертежник, оно расчерчивает пространство глубокими черными тенями, подчеркивает малейшие неровности фактуры кирпичной стены, отделяет один объект от другого с хирургической точностью, высекая их из фона, словно скульптор, работающий резцом по мрамору. В ярком полуденном свете, особенно летом, в самый солнцепек, мир предстает перед нами исчерпывающе каталогизированным и понятным. Это мир, в котором каждая вещь знает свое место и свою функцию. Вот дерево, а вот его тень, четко прорисованная на раскаленном асфальте. Вот угол дома, острый как скальпель, почти ранящий глаз своей геометрической безупречностью. Мы скользим взглядом по поверхностям, нигде не задерживаясь подолгу, потому что форма полностью исчерпывается содержанием: это стул — на нем можно сидеть; это дверь — в нее можно войти; это асфальт — по нему можно идти. В этом жестком, пересвеченном мире нет места для двусмысленности, для метафоры, для поэзии. Поэзия прячется в тени, она ждет своего часа, как ночной зверь, пережидаящий палящий зной в прохладной норе. И когда солнце исчезает, когда его последний луч гаснет где-то в стратосфере, свет перестает быть направленным. Он теряет свой источник, свою волю. Он становится

рассеянным, обволакивающим, он будто поднимается снизу, отражаясь от бесконечного пыльного неба, становясь мягким и диффузным. В этот самый момент мир перестает быть суммой отдельных, изолированных предметов. Он превращается в единое, дышащее пространство, где границы размыты, где твердое становится зыбким, а определенное — сомнительным. Наступает время «синего часа» — l'heure bleue, как называли его французские импрессионисты. Это краткий, мимолетный миг, возможно, не более получаса, когда цветовая температура окружающей среды странным, мистическим образом сравнивается с нашей собственной внутренней температурой, когда холодный синий свет проникает, кажется, под кожу, в легкие, в кровь, и воздух становится плотным, почти осязаемым, таким, что его, кажется, можно пить, как ледяную родниковую воду.

Я часто, очень часто, на протяжении многих лет, мучительно размышляю о том, почему именно в эти минуты, именно в этом синем безвременье, с такой остротой ощущается тревога. Не та конкретная, предметная тревога, которую можно назвать по имени, разложить по полочкам и попытаться унять логическими доводами, — не тревога, вызванная неоплаченными счетами, грядущим тяжелым разговором, размолвкой с близким человеком или завтрашним экзаменом. Нет, это экзистенциальная, беспредметная, глубинная тревога, разлитая в самом воздухе, как этот вездесущий синий сумрак. Это тоска, у которой нет адресата, страх, у которого нет объекта. Почему тревога выбирает именно это время? Почему она приходит не в полдень, когда солнце в зените и всё, казалось бы, должно быть предельно ясно, и не в полночь, когда тьма уже сгустилась и можно спрятаться под одеяло, зажечь лампу, включить телевизор, отгородиться от космоса? Днем, при ярком свете, нам некогда. Днем мы — функции, мы — роли, мы звеним в рабочем режиме, как туго натянутая струна, мы выполняем задачи, мы бежим, мы говорим, мы потребляем, мы производим. Мы постоянно вовлечены. Дневной свет — это свет действия, он требует от нас соответствия, он не оставляет времени на рефлексию. Ночью мы прячемся в кокон сна или, если не спим, в теплый кокон искусственного света, отгораживаясь от пугающей бесконечности вселенной абажурами, торшерами, экранами смартфонов, всем этим уютным электрическим бивуаком. А здесь, в сумеречном провале, мы оказываемся абсолютно без защиты, на нейтральной полосе, где ни дневные, ни ночные правила не действуют. Резкость, которая обеспечивала нашу уверенность в прочности и познаваемости мира, исчезла. Контуры дома на другой стороне улицы становятся зыбкими, неуверенными, они плывут, словно отражение в воде, в которую бросили камень. Дерево, которое днем было просто березой или кленом, элементом городского озеленения, в сумерках перестает быть деревом. Оно превращается в темную, дышащую, колышущуюся массу, в живое существо с множеством рук, которое шевелится и шепчет что-то на своем древнем языке. Знакомый путь от метро до подъезда, пройденный тысячи раз почти на автопилоте, приобретает странную, почти театральную глубину, словно декорация в театре абсурда, которую вот-вот унесут за кулисы невидимые рабочие сцены. Мы остаемся один на один с миром, который внезапно показал свою истинную, нерасчлененную, хаотичную суть. Это тревога потери ориентации. Наш мозг, этот сложнейший биологический компьютер, привык сканировать пространство на предмет опасностей, опираясь на четкие, однозначные сигналы: резкое движение, громкий звук, четкий, узнаваемый силуэт. В сумерках вся эта отлаженная система безопасности дает фатальный сбой, перегружается шумами, ложными срабатываниями. Серая кошка, бесшумно метнувшаяся через дорогу, кажется на долю секунды призраком, выходящим с того света. Куст сирени, мерно колышущийся под порывом вечернего ветра, обретает масштаб затаившегося великана, замышляющего недоброе. Это не трусость, не слабость нервов, не инфантильность. Это физиология. Это глубинная, эволюционно закрепленная реакция древнего, сумеречного страха. Это взгляд, отчаянно пытающийся зацепиться за реальность, найти хоть какой-то ориентир и соскальзывающий в пустоту, потому что зацепиться больше не за что.

Однако в этом же самом отсутствии резкости, в этой же самой оптической и онтологической неопределенности кроется и причина совершенно противоположного, почти райского чувства — того самого долгожданного, глубочайшего умиротворения, которое иногда накрывает нас с последним ударом колокола уходящего дня. Парадокс сумерек, их великая тайна и их магия, заключается в том, что они одновременно являются и пиком экзистенциальной тревоги, и моментом глубочайшей, почти медитативной релаксации. Это точка амбивалентности, где страх и покой сплавляются в единый, невыразимый сплав. Всё зависит от внутренней оптики смотрящего, от его готовности отпустить контроль и довериться потоку. Вспомните, прошу вас, то блаженное состояние, когда вы смертельно устали от дневного шума. Не только от шума акустического — от грохота машин, гула голосов, лязга металла, — но и от шума визуального. От пестроты, от агрессивной рекламы, от миллиона визуальных раздражителей, которые ежесекундно бомбардируют нашу сетчатку в яркий солнечный день. Этот визуальный шум утомляет не меньше, чем грохот отбойного молотка за окном, но мы редко отдаем себе в этом отчет. Мы не осознаем, но четкость мира, его навязчивая детализированность, насильственна. Она требует от нас непрерывной, изнурительной интерпретации. «Это красное», «это круглое», «это далеко», «это близко», «это опасно», «это привлекательно». Мы вынуждены постоянно, без отдыха, сортировать реальность, навешивать на нее ярлыки, раскладывать по полочкам. Это колоссальная когнитивная нагрузка. Когда наступает синий час, мир милосердно, как заботливая сиделка, гасит свет, убирает пестроту и теряет цвет. Красный, этот цвет тревоги и возбуждения, перестает быть агрессивным, он гаснет первым, погружаясь в черноту. Желтый, цвет дневной активности, бледнеет и исчезает. Всё окрашивается в благородную, умиротворяющую монохромную гамму синего, серого, серебристого и сепии. Глаз, наконец, отдыхает. Ему больше не нужно напрягать цилиарные мышцы, чтобы различить мелкие детали на ярком солнце, чтобы адаптироваться к резким перепадам света и тени. Зрачок расширяется, максимально пропуская скудный оставшийся свет, и вместе с этим физическим, мышечным расслаблением приходит расслабление психическое, словно отпускает какая-то тугая пружина внутри.

В эти минуты мы перестаем быть деятелями и становимся созерцателями. Это фундаментальный сдвиг модуса существования. Днем мы видим вещи, мы взаимодействуем с ними, мы используем их. В сумерках мы начинаем видеть пространство между вещами, ту пустоту, которая их разделяет и одновременно связывает воедино. А именно там, в этих наполненных воздухом и тишиной промежутках, и обитает та великая тишина, которой так не хватает современному человеку. Стоя у окна в момент, когда на улице еще недостаточно темно, чтобы зажечь в комнате свет, но уже недостаточно светло, чтобы читать, мы попадаем в изумительную ловушку бездействия. Это вынужденная остановка, саботаж продуктивности. Гете в предсмертном порыве воскликнул: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!», но на самом деле, в повседневной жизни, это мгновение само останавливает нас, берет за шкирку и заставляет замереть. Схлынула дневная жара, а вместе с ней схлынула и лихорадочная необходимость куда-то бежать, что-то делать, кому-то соответствовать. Еще не зажглись фонари, а значит, вечерняя программа обязательных развлечений и информационного потребления еще не вступила в свои права. Это чистое время, незамутненный поток бытия, время, свободное от диктата целей. Именно здесь, в этой щели между обязательствами, мы можем, наконец, услышать тот самый внутренний голос, который целый день безуспешно пытался до нас докричаться, но заглушался информационным шумом, рабочими чатами и фоновой музыкой из супермаркетов. Мысли становятся глубже, весомее, медленнее, потому что исчезает внешний стимул для их лихорадочных скачков. Если днем наша мысль подобна обезьяне, которая скачет по веткам, перепрыгивая с одного яркого объекта на другой, с одного уведомления на другое, то сейчас ей некуда спешить. Она течет плавно, как большая равнинная река в среднем течении, медленно

и мощно, неся на своей глубине темные, илистые, плодородные истины, которые никогда не всплывают на поверхность в ярком свете дня.

Чтобы по-настоящему понять магию этой пограничной зоны, нужно провести простой, но абсолютно честный эксперимент. Не философский анализ задним числом, не чтение умных книг, а прямое, живое переживание. Когда в следующий раз солнце уйдет за горизонт, отложите телефон. Не просто заблокируйте экран, а положите его экраном вниз, в другую комнату. Не пытайтесь заполнить эту внезапно образовавшуюся паузу музыкой, подкастом, аудиокнигой или разговором. Просто встаньте или сядьте так, чтобы видеть окно, но не видеть выключатель. Это важно: выключатель должен быть вне поля зрения, чтобы не было соблазна. Дождитесь этого уникального, почти неуловимого момента, когда уровень освещенности на улице сравнивается с уровнем освещенности в комнате. Это момент оптического паритета. В этот миг окно перестает быть порталом в другое, внешнее пространство. Стекло, еще недавно прозрачное, исчезает как физическая преграда, превращаясь в слабо мерцающую, призрачную зеркальную гладь. Вы видите одновременно и то, что снаружи, — смутные, колышущиеся силуэты деревьев, темнеющее, густеющее небо, первые, еще робкие звезды, — и свое собственное отражение, наложенное на этот угасающий пейзаж. Оно призрачное, нечеткое, без деталей. Вы видите лишь смутный овал своего лица, темные провалы глазниц. Вы видите себя, словно ставшего частью этого умирающего света, частью сумерек. Это жуткое и одновременно невыразимо прекрасное зрелище. Это момент, когда субъект и объект сливаются, когда дистанция между внутренним миром души и внешним миром природы исчезает, и вы оказываетесь вписанным в пейзаж, как дерево, как облако, как камень.

Давайте теперь проследим, шаг за шагом, стадию за стадией, как именно тьма съедает контуры предметов. Это процесс, который занимает, в зависимости от времени года и широты, от пятнадцати минут до получаса, но в нем заключена целая драматургия, целая метафизическая трагедия. Сначала, сразу после того как солнце ушло, но небо еще яркое, мир приобретает странное, почти сюрреалистическое свойство. Он похож на плоский театральный задник. Освещение в этот момент — рассеянное, оно идет со всех сторон, и поэтому тени практически исчезают. Предметы мгновенно теряют свой объем, свою трехмерность, свою скульптурность. Дома становятся картонными фасадами, деревья — плоскими аппликациями из черной бумаги. Это первая стадия утраты правды: мир из полноценного 3D превращается в плоскую, обманчивую 2D-картинку. Реальность начинает симулировать свою собственную репрезентацию. Затем, по мере того как уровень освещенности падает всё ниже и ниже, первой из вещественных качеств сдается фактура. Перестает читаться шершавость коры старого дуба, рябь и микротрещины кирпичной кладки, зернистая текстура асфальта. Наш глаз, переходящий на сумеречное зрение, начинает опираться в основном на палочки, а не на колбочки. Палочки, эти высокочувствительные детекторы света, почти не различают деталей, они отвечают за обнаружение движения и общей, грубой формы. Поэтому город, только что бывший новым и блестящим, мгновенно стареет. Дома-новостройки, облицованные яркой, кричащей плиткой, и старые, облупленные, благородно стареющие здания уравниваются в правах. Исчезает вся косметика реальности, все эти архитектурные излишества, лепнина, краска, штукатурка. Сумерки — великий демократ и беспощадный, гениальный критик архитектурных излишеств и вкусовщины. Они обнажают чистую форму, архетип здания.

Следом тьма берется за цвет, и это самый завораживающий, самый мистический этап. С научной, оптической точки зрения это явление называется эффектом Пуркинье — сдвиг спектральной чувствительности нашего глаза при переходе от дневного (фотопического) к сумеречному (мезопическому) зрению. Красные цвета, еще недавно такие яркие и агрессивные,

первыми начинают терять свою светлоту и становятся черными. Они превращаются в густые, матовые, бездонные провалы. Раньше всех исчезает красная герань на балконе, которая днем горела, как сигнальный огонь. Исчезает красная машина, припаркованная у тротуара, словно растворяясь в кислотном синем растворе. Они ныряют в небытие раньше срока, уступая свою видимую энергию другим частям спектра. Зато синие и зеленые оттенки, наоборот, начинают светиться собственным, призрачным, фосфоресцирующим светом. Трава на газоне, которая днем была просто пыльной и жухлой, в сумерках кажется неестественно яркой, изумрудной, будто подсвеченной изнутри каким-то хтоническим сиянием. Мир перекрашивается заново невидимым художником. Это уже не наш привычный, антропоцентричный мир, это декорация к сну, к мифу, написанная холодными, неземными красками. Мы вдруг прозреваем, что цвет — это не свойство объекта, а событие, взаимодействие света и нашего восприятия, и сейчас это взаимодействие дает сбой, открывая изнанку реальности.

Наконец, наступает финальная, самая глубокая стадия: тьма начинает свою трапезу с геометрии и съедает углы. Прямые линии, этот бастион человеческого разума и порядка, перестают быть прямыми. Они начинают вибрировать, смазываться, изгибаться. Острые шпили церквей, антенны на крышах, натянутые провода троллейбусных линий — все эти символы нашей технической цивилизации — растворяются в темнеющем небе, как сахар в стакане с водой. Геометрия, этот последний оплот уверенности, уступает место аморфной, текучей массе. И вот здесь, на этом этапе, наступает критический момент истины, момент, ради которого и затевалось все это представление. Мы вдруг понимаем — не умом, а всем своим существом, — что большую часть дня, да что там дня, всей нашей сознательной жизни, мы живем в мире абстракций. В мире удобных, полезных, но фиктивных конструкций. «Прямой угол» — это всего лишь идея, математическая модель, которую мы, сговорившись, приписываем реальности для удобства ориентирования. В сумерках реальность мстит нам за нашу самонадеянность, за нашу гордыню демиургов, показывая свою истинную, текучую, неопределенную, процессуальную природу. Стоит лишь немного убрать свет — всего лишь слегка изменить электромагнитную обстановку, — и весь жесткий каркас бытия, казавшийся таким незыблемым, вечным, превращается в мягкую, податливую глину, в туман, в мираж. Это великий урок смирения.

Именно эту глину, этот первозданный хаос, месит наше освобожденное воображение. Сурдопереводчик дневного мира, который синхронно переводил нам язык реальности на язык понятий, замолкает. Его услуги больше не нужны, потому что и переводить-то больше нечего. И мы начинаем додумывать реальность сами. Мы становимся со-творцами. В темном, бесформенном пятне на месте парковой скамейки нам вдруг начинает мерещиться сидящий человек, застывший в молчаливом ожидании. В шорохе листья нам слышится осмысленный шепот, в скрипе ветки — чьи-то шаги. Это время, когда наше *ratio*, наше дневное, эгоистическое сознание, уходит на второй план, измученное дневной работой, уступая авансцену архаическому, интуитивному, магическому мышлению. Сумерки стирают не только границы между предметами внешнего мира, но и границы внутри нас самих — между «я» и «не-я», между прошлым и настоящим, между реальностью и воспоминанием, между тем, что было на самом деле, и тем, что мы когда-то прочитали в книге. Не зря в мифологии, фольклоре и священных текстах практически всех народов мира именно это время суток считалось особенным, опасным, «часом между волком и собакой» (*entre chien et loup*), моментом, когда из своих укрытий выходят духи, демоны и тени предков, когда истончается завеса между мирами и открываются врата в иные измерения. Наши предки боялись этого времени не потому, что были глупее, примитивнее или суевернее нас, а потому, что они были несравнимо ближе к природе, к ее ритмам, и тоньше, острее чувствовали эту онтологическую зыбкость, эту уязвимость рациональной кар-

тины мира. Они знали наверняка: когда вещи теряют резкость, меняется сама ткань реальности, и нужно быть настороже.

Позвольте мне поделиться одним очень личным, почти сакральным для меня воспоминанием, переживанием этого часа, которое случилось много лет назад. Я сидел на веранде старого, скрипучего деревенского дома, в месте, где цивилизация отступала, оставляя лишь редкие огни на дальних холмах. День был изнурительно суматошный, наполненный мелкими, дурацкими заботами, телефонными звонками, раздражением от духоты и жары, бесконечным прокручиванием в голове каких-то нелепых дневных диалогов. Я сидел и рассеянно смотрел на грядки, на заросли малины, на покосившийся штaketник. Сначала, честно говоря, ничего не происходило. Я все еще находился в плену дневного сознания, все еще вел бесконечные внутренние споры, что-то кому-то доказывал, планировал завтрашние дела, перемалывал старые обиды. Мысль билась в черепной коробке, как пойманная птица. Но по мере того, как синева сгущалась, а белые, похожие на звезды цветы душистого табака на клумбе начинали светиться собственным, фосфорическим, неземным светом, моя внутренняя болтовня начала затихать. Сначала пропали слова, исчез звук голосов в голове. Потом исчезли лица оппонентов. Осталось только смутное, но приятное ощущение тяжести собственного, уставшего тела, приятная ломота в костях и прохладный, влажный воздух на коже предплечий. Я перестал думать о времени, перестал делить его на прошлое и будущее. Я просто смотрел, замороженно, как тьма, медленно и методично, съедает контуры грядок, как стирается граница между грядкой и дорожкой. Вот только что я четко видел, где заканчивается мощный куст кабачка и начинается утоптанная земляная дорожка. Моргнул — и границы уже нет. Моргнул еще раз — и нет уже ни грядки, ни дорожки. Есть единая, дышащая прохладой, живая масса зелени, темно-синяя, почти черная. И я вдруг почувствовал странное, невыразимо глубокое родство с этой массой. Я перестал быть наблюдателем, субъектом, сидящим на стуле и анализирующим. Я стал частью этого сумеречного сада, таким же сгустком материи, теряющим резкость, границы, имя. Это было чувство глубочайшего, всепоглощающего покоя, космического растворения. Не было страха исчезнуть, было безграничное, эйфорическое счастье раствориться в этом синем безмолвии, вернуться в первооснову. Если бы в этот самый момент, на этом пике слияния с миром, внезапно зажглись фонари, если бы яркий, резкий электрический свет, как скальпелем, резанул по глазам, мгновенно вернув миру объем, жесткость и банальную предметность, я бы, наверное, испытал настоящую физическую боль, как от удара. Это было бы грубое, насильственное изгнание из рая. К счастью, фонарей в том саду не было, и благословенный процесс растворения прошел до своего естественного, завершающего финала — до наступления полной, бархатной, южной темноты.

Но городские сумерки — это всегда трагедия. Это трагедия незавершенности, прерванного таинства, коитус interrupted метафизического масштаба. Мы, жители мегаполисов, никогда, или почти никогда, не видим их полного цикла, их величественного финала. Ибо город, эта безжалостная машина, не доверяет природе заканчивать начатое. Он боится тьмы и тишины, он боится того, что может родиться в этой тишине. В тот самый миг, когда трансформация достигает своего апогея, когда синева становится почти чернильной, когда мир уже практически готов окончательно растаять и переродиться в нечто иное, в ночь, полную звезд и истинных голосов, происходит внезапный, грубый, электрический удар. Резко, бесперомонно, без предупреждения, с отвратительным, механическим щелчком, которого мы даже не слышим, натриевые фонари заливают улицу своим ядовито-желтым, мертвенным, монокромным светом. Они мгновенно возвращают предметам их жесткие, уродливые, черные тени, которых не должно быть в это время. Тьма, этот живой, дышащий организм, не уходит в небытие, нет, она отступает, зализывает раны и прячется в подворотнях, за мусорными баками, под припар-

кованными машинами, забивается в щели, ожидая следующего шанса. Искусственное освещение — это не продолжение дня, это не забота о человеке. Оно создает новую, уродливую, искаженную реальность, мир кафкианского абсурда. Если дневной свет — это сложнейшая, многоголосая симфония рассеянных и отраженных лучей, играющая на всех поверхностях, если сумеречный свет — это тихая, медитативная, одноголосая мелодия, исполняемая на одной ноте, то свет натриевой лампы — это монотонная, невыносимая сирена, бьющая по нервам. Он не лепит форму, он вырезает ее грубым, рваным трафаретом. Он выхватывает из тьмы случайные, часто безобразные куски: грязный, потрескавшийся асфальт, облупленную скамейку, переполненный мусорный бак с растащенным собаками содержимым. Переход от сумерек к искусственной ночи всегда насильственен, это шок. Мы снова, как по команде, надеваем очки, снова возвращаемся в мир конкретных, скучных, функциональных вещей. Очарование пограничной зоны разбивается вдребезги о бетонный парапет светового загрязнения. И душа, едва успевшая расправить крылья, снова сжимается в точку.

И тем не менее, даже в самом центре враждебного мегаполиса можно обмануть систему, можно устроить саботаж. Можно сознательно выбрать маршрут домой через старый, запущенный парк или через пустырь, где фонари расставлены реже и светят тусклее. Можно просто выключить свет в комнате и сесть спиной к двери, заставляя себя пережить этот дискомфорт растворения, эту сладкую пытку ожидания. Потому что умение существовать в сумерках — это не просто эстетская блажь, это жизненно важный навык, который, как и любая мышца, тренируется. Это способность выдерживать неопределенность, не паниковать при столкновении с амбивалентностью, не требовать немедленной резкости там, где она невозможна и губительна. Ведь наша жизнь, если честно и глубоко вдуматься, в значительной своей части и есть такое вот сплошное сумеречное пространство. Мы почти никогда не находимся в полной, абсолютной ясности или в полном, крошечном мраке. Мы всегда в процессе, всегда в переходе: то ли день, то ли ночь, то ли любовь, то ли привычка, то ли успех, то ли провал. Между двумя работами, между двумя возрастами, между здоровьем и болезнью, между любовью и мучительным равнодушием, между верой и циничным отчаянием. Границы наших собственных личных состояний, наших идентичностей, так же размыты и текучи, как контуры сада в синий час. И та глубинная, подспудная тревога, которую мы часто испытываем в жизни, в огромной степени связана именно с тем, что мы пытаемся включить фонари слишком рано. Мы не даем себе времени побыть в сумерках. Мы требуем немедленной резкости, немедленных, однозначных ответов, четких очертаний ситуации. Мы хотим знать прямо сейчас: «любит — не любит», «получится — не получится», «прав я или виноват». Мы боимся, панически боимся этого зависания в серой зоне, этого состояния невесомости, когда старые смыслы уже растворились, а новые еще не родились.

Но именно там, в серой зоне, в этом состоянии неопределенности и тишины, происходит самое важное — происходит созревание души, вынашивание новых смыслов. Глаз, привыкший к сумеркам, переставший бояться темноты, начинает видеть гораздо больше. Он начинает различать сотни, тысячи тончайших оттенков серого, серебристого, пепельного, абсолютно недоступных дневному, пересвеченному зрению. Человек, научившийся не паниковать при растворении контуров, обретает доступ к глубинным источникам интуиции. Он перестает делить мир на черное и белое, на «своих» и «чужих», на «правильно» и «неправильно». Он начинает видеть сложнейшую сеть взаимосвязей, взаимопереходов, тончайших полутонов. Сумерки учат нас метафорическому, поэтическому зрению. Ведь что такое метафора, как не снятие резкости с одного предмета и наложение его на другой? Это смешение границ, это нахождение общего в разном, это размывание жестких контуров понятий. Это способность

видеть в облаке верблюда, а в дереве — распятого бога. Поэзия рождается не при ярком полуденном свете, а в синем сумраке воображения.

Поэтому первое и, возможно, самое главное, что мы должны сделать на долгом и трудном пути к пониманию себя, своего места в мире и устройства самой реальности, — это просто, буквально, физически остановиться. Перестать бежать. И молча посмотреть, как тьма съедает контуры предметов. Не надо ничего анализировать, сравнивать или запоминать. Не надо искать в этом зрелище высший, эзотерический смысл или, упаси боже, красивый кадр для инстаграма. Надо просто быть свидетелем. Быть чистым присутствием при ежевечернем чуде умирания дня. Смотреть на стену, которая только что была ослепительно белой, а теперь стала сизой, потом голубой, потом серой и, наконец, исчезла. Смотреть на свои собственные руки, которые только что были молодыми или старыми, ухоженными или грубыми, а теперь это просто руки, теряющие свою плотность и определенность в густеющем полумраке, становящиеся частью тайны. Смотреть на небо, где последняя, тончайшая полоска зари, цвета остывающего в горне металла, переходит от меди к латуни, от латуни к цинку, от цинка к свинцу и, наконец, гаснет. И если вы будете достаточно терпеливы, если вы не испугаетесь тишины, то в какой-то момент вы почувствуете легкое, как от первого глотка вина, головокружение. Вы почувствуете, как исчезает пол под ногами, как исчезают стены, как растворяется в синем воздухе ваше собственное «я» — вся эта громоздкая сумма социальных ролей, заученных сценариев, психологических травм, амбиций и страхов. Останется только чистое, безмолвное зрение. Чистое осознание, вглядывающееся в синюю бездну. Это момент невыразимой истины, момент встречи с самим собой, настоящим, до-социальным. В этом зависании между светом и тьмой нет ни прошлого, ни будущего. Нет сожалений и нет планов. Есть только это бесконечно длящееся «сейчас», эта зыбкая, вибрирующая граница, на которой вы балансируете вместе с угасающим днем, как канатоходец над пропастью. И если вам удастся удержаться на этой грани, не проваливаясь в животный страх перед ночью и не сбегая в спасительный электрический плен, вы поймете, что такое настоящий покой. Покой не как кладбищенская тишина, не как отсутствие движения, а как отсутствие мучительной, изнурительной необходимости быть резким, определенным, завершенным. Сумерки дают нам великое разрешение быть размытыми, незаконченными, противоречивыми, живыми. Они учат нас трудной, почти забытой любви к миру, находящемуся на пороге исчезновения, к его хрупкой, ускользающей красоте. И это первый, самый важный урок пограничной зоны, с которого начинается всякое подлинное знание.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.